Ленинградская больница

Category: Hekaýalar,Kitapcy
написано kitapcy | 23 января, 2025
Ленинградская больница

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БОЛЬНИЦА

От редакции «Скепсиса»: Биографический рассказ Виктор Сержа «Ленинградская больница» был завершен в 1944 г. На содержание рассказа во многом повлиял незавершенный роман Франца Кафки «Замок», который Серж в своих записках описывал как трагедию «заурядного человека, сопротивляющегося вслепую чудовищной социальной машине». Этот рассказа – редкое свидетельство того растерянного и подавленного состояния, в котором прибывали многие подлинные коммунисты в период между разгромом оппозиции и началом сталинского террора. И тем ценнее эти наблюдения, что Серж – один из немногих очевидцев того времени, сумевший избежать гибели и отразить в своем творчестве общественные метаморфозы периода термидора.

* * *

В 1932 году я жил в Ленинграде и открыл для себя практическую психиатрию, когда у самого дорогого мне существа вдруг обнаружилась душевная болезнь[1]. Уже наступили черные времена перебоев с продуктами в городе, голодухи в деревнях, террора, подозрительных убийств, преследований специалистов, верующих, крестьян, оппозиционеров. Я принадлежал к последней категории преследуемых. А значит, ночью, сквозь самый глубокий сон слух мой старался различить среди шумов на лестнице поступь близкого ареста… Приятель из врачей предложил мне побывать в старейшей психиатрической лечебнице города, больнице Ивана Чудотворца, перенаселенном, обветшалом второразрядном заведении с ореолом мрачной славы. «Особо хотелось бы, – сказал врач, – показать вам один курьезный, даже забавный и весьма, как бы это выразиться, актуальный случай…»

Сам врач, уже пожилой, выглядел как опасный полоумный, хотя

был человеком сугубо любезным, подчиненным во всех порывах редкому, одновременно и ограниченному, и глубокому уму. Храню в памяти бесконечное к нему уважение. Он любил свою аскетическую, более того, обреченную на нужду жизнь, замкнутую в маленьком, неведомом миру аду. Был он долговяз, костляв, плешив, крив на один глаз. Улыбку портил щербатый рот. Его прежних времен университетский сюртук сохранил лишь складки да блеклый цвет убожества. Галстуки махрились. Жизнь отдавая больнице, он не поднялся выше зама, и винить в этом было некого, ибо сам по соображениям совести отказался вступать в правящую партию. «Да он чокнутый, – судачили у него за спиной. – Почему? Мог бы стать главврачом, получал бы академический паек первой категории…». Мне бывало нечего возразить такому злословию…

По ту сторону высокой решетки я проник, предъявив на проходной документы. Исхудавшие дерева, черная, сквозящая холодом земля под блеклым небом осенней Балтики. Плоский, крашенный в желтое, изгаженный копотью фасад с зарешеченными впадинами окон; я шагнул в оцепенело-молчаливое здание. (Само собой, имени святого чудотворца больница уже не носила, новое же, никому не внятное название я забыл – память о святом победила посредством забвения без особых чудес.)

Врач принял меня в приятно нагретом калорифером кабинете. Смущенно глянул на часы:

– Простите, Виктор Львович, вам придется чуток потерпеть. К этому часу всегда приезжают Они, мне надо встречать.

Они? Заметный акцент на местоимении – будто речь шла о нечистой силе – интриговал. Единственный, навыкате, с зарядом потаенной искры глаз лекаря возбудил во мне смутную тревогу.

– Видите ли, Виктор Львович, наше заведение придано ГПУ… Стало быть, ГПУ отправляет к нам своих клиентов, когда не может сделать с ними ничего другого… Таких у меня предостаточно.

– Ах да, прекрасно, – тупо отозвался я.

Потом, в урочный из минуты в минуту час явились Они. Значит, точность в этом подлом мире сохранилась, по крайней мере, у посетителей подобного сорта. Не обнаруживая себя, я наблюдал через запотевшие двойные стекла окна; пенсне, думалось, делало меня вполне похожим на психиатра…. Воронок остановился в саду. Из кабины выскочили два безусых солдатика в длинных серых шинелях и замерли по обе стороны задней дверцы. Рванули из ножен кавалерийские клинки, казавшиеся чересчур крупными, широкими, ослепительными, будто их смертоносный металл вобрал весь свет скудного дня. А в моем мозгу вертелась дурацкая рифма: рубай вражину — рубай кретина… Появился начальник, отворил дверцу воронка, заглянул вовнутрь. «Выходи! — прокричал он. — Поживей, граждане!» (рубай кретина — рубай гражданина…) — и граждане с гражданками, возникая из мрака кузова, запрыгали неловко: высоковато было — с колес да из кузова. Дневной свет делал граждан и гражданок похожими на слепцов. Недвижные клинки будто отдавали им издевательскую честь. Санитары в белом сноровисто ухватывали их и препровождали — рукой подать — до входа в больницу. Я насчитал более полудюжины доставленных: обычные люди, с какими, не особо разглядывая, сталкиваешься в автобусах. Вершилось все скоро, молча, без удивления и протеста. Очередную арестантскую команду в ГПУ сформировали из слегка тронутых или умеренно нервных, свихнувшихся исключительно на почве страха. Санитары придерживали их скорее для профилактики, словно без поддержки они ватно осядут на черную землю, и тогда обнаружится, что на самом деле это всего лишь тряпичные куклы с восковыми личинами, позаимствованные из реквизита режиссера Мейерхольда. (Великому художнику самому предстояло исчезнуть спустя всего несколько лет…) Сверкающие сабли вернулись в свои ножны, воронок растворился меж тощих дерев. Одноглазый доктор освободился. Простер покрасневшие руки над калорифером.

— Ну вот, — сказал он. — Сегодня все куда как спокойно. Не каждый раз так проходит… У меня нечем вас угостить, Виктор Львович, водки ни глотка… Разве что чаю стакан. Снабжение у нас никудышное.

— Вот уж, доктор, никогда бы не подумал.

Ему хотелось поговорить, ибо, несмотря на вечное лепетание вокруг, жил он молчальником, дальновидно замкнувшись в себе.

— Клиенты от ГПУ, — сообщил он, — порой весьма неудобны с точки зрения профессиональной… Здесь на этаже вы увидите бабенку, шинкарку, знаете, чем они занимаются: торговля алкоголем из-под полы.

— Знаю…

Мне не в диковинку сомнительные, застойные, без признаков товара базарчики, которые кучковались за церквами. Скопище несловоохотливых мужчин, подозрительных теток, разнообразных оттенков нищеты — никто никуда не торопится, взгляды уклончивые. То тот, то другая походя цедит сквозь зубы: «чай», «сахар», «часы», «госзайм»… Шинкарке такая невнятица ни к чему — в горсти у нее всякий разглядит стакашек. Пряча бутылку за пазухой, она разливает водку порционно: глоток, полглотка, — хлебай, гражданин, шустро! Так подогревается жизненный тонус тем, кто не в состоянии заплатить даже за четвертинку… Благодетельница шинкарка!

—…Беленькая, тщедушная, — продолжал врач. — Костромская крестьянка восемнадцати лет…. Попалась с поличным. Дали срок: три года лесоповала в средне-северной Сибири. Там вроде бы иной раз оказывается не так уж плохо. Перевоспитание трудом. Но для нее слишком тяжко. Девчонка сбежала и опять в Ленинград. Бог знает как, снова взялась отпускать свои стаканчики. Иного не умеет, а тут и капитала больше двух рублей не надобно; проституцией она брезгует, у нас многие крестьянки таковы — испытывают к проституции враждебное отвращение… Опять взяли с поличным — рецидивистка. На сей раз пять лет лесоповала и, как водится, в местах более суровых. Она, пока в тюрьме, в добром рассудке, далеко не загадывает, будущее себе представить неспособна. Инфантильна. Как объявят отправку, в последний момент впадает в нервный кризис,

делается нетранспортабельной! Доставляют ко мне… Здесь она мало-помалу успокаивается, славной такой делается, оживает. Я выписываю, и все повторяется, мне возвращают ее связанной. Сейчас она в своем уме. Ее психоз сводится к лесобоязни… Вот, снова надо оформлять на выписку. Что делать, Виктор Львович? Выписывать, не выписывать?

— А направьте-ка в ГПУ докладную, доктор. Должны же они понять.

— Нет, друг мой, понять должны вы. Им я направил предостаточно докладных, поверьте. Воспринимаюсь плохо. Беспартийный. Мне подобает не обсуждать их решения, а заполнять формуляры…

Он подмигнул своим одиноким глазом:

— И, знаете, я тоже испытываю некоторую лесобоязнь… В моем-то возрасте!

Маленькая шутка добавила нам живости. Белокурую шинкарку, повинную в злодейском сбыте алкоголя, я повидал. Она мыла в коридоре пол. Улыбнулась врачу, который ласково, на «ты» поговорил с ней, а потом заявил мне:

—…Ничего не поделаешь. Случись проверка — не миновать неприятностей. Придется выписывать. За нее вполне спокоен — вернут вскорости.

Хмурые от застарелой грязи переходы полнились бормотанием, стелившимся вперемежку с холодной сыростью по паркету. Мы побывали в некоторых палатах. Я повидал все, что можно встретить в такого рода заведениях. Один случай запал особо. В совершенно голой комнате с десятком женщин в серых халатах, кто в прострации, кто в возбуждении, одни не обратили на нас внимания, другие приветствовали непристойными жестами, третьи обступили врача и затараторили все разом. Какой-то миг я витал в невероятном одиночестве. Странное чувство, которое иногда возникает под едва ощутимым нажимом взгляда, заставило обернуться. Предо мной была красивая черноволосая девушка,

серьезная, почти элегантная в своем тряпье и простом полотняном платочке, мило охватившем шею. С предельным вниманием всматриваясь в меня, она вдруг вымолвила чуть слышно:

— Вы кто?

—…член писательского союза…

— Партийный?

— Нет.

Негромко, но решительным тоном она торопилась выговориться, уставив свои прекрасные карие глаза прямо в мои. Милая, в здравом уме, в отчаянии. Я представил надрывные толчки сердца зажатой в кулак птицы. Фразы свои она выкраивала наспех, дорожа каждой секундой:

— Довериться вам хочу. Работала на обувной — «Скороход», нас в одну ночь семерых забрали. Ради бога или всего святого, сообщите родным. Запоминайте: зовут… адрес… Вот и все.

— Обещаю, передам.

Я повторил имя и адрес. И приметил дрожь в ее губах. Кончиками пальцев коснулся плеч, тоже охваченных мелкой дрожью.

— Постарайтесь успокоиться. Желаю вам…

Что я мог ей пожелать?

Мы с врачом шагали через какие-то еще мерзопакостные палаты. Стыдно расха-живать так, бесполезным и бессильным. Приятно было сохранить имя, адрес, смутное ощущение карего взгляда…

— Ну ладно, доктор, — сказал я, — а где же этот ваш интересный, даже забавный случай, о котором вы говорили?

— Сию минуту, Виктор Львович. В отдельной палате. На верхнем этаже.

Поднялись. Доктор отворил дверь просторной, как мне показалось залитой светом одиночки. Стареющий мужчина в сером халате читал, сидя по-турецки на подоконнике. Спокойно повернул голову в нашу сторону.

— Добрый день, доктор. Здравствуйте, гражданин.

Голос звучный, тон нейтральный. Врач представил нас друг другу:

— Виктор Львович К., писатель… Нестор Петрович Юрьев, ценитель литературы. Надеюсь, будет приятно познакомиться… Я вас покину ненадолго…

Юрьев: бледное, асимметричное, удлиненное жидкой, почти белой бородкой лицо. Из глубины орбит серый, спокойный, даже благожелательный взгляд. Лоб узкий, прочерченный горизонтальными складками. «Прожектер какой-нибудь, — подумалось мне. — И себе на уме». Я не мог уловить, что именно, но было в его чертах нечто пронзительное. Юрьевым я называю его здесь не случайно, Юрий — это славянская форма имени Георгий, а святой Георгий, согласно «Златой легенде», сумел усмирить Силенского змея, утолявшего свою ярость исключительно пожиранием жертвенных младенцев.

Юрьев сообщил, что устроился он тут хорошо — «как монах в келье», впрочем, и в тюрьме жилось ему — «естественно» — вполне неплохо. «Не издевались над вами?» — «О! Нет. Они стали любезными после первой же ночи…». Меня Юрьев спросил:

— Пишете? Что пишете?

— Очерки…

— Простите, — мягко прервал он. — Не обижайтесь, если что не так. Очерки — дело никчемное, надо создавать…

— Я и романы пишу…

— Простите меня еще раз. В романах столько лжи и пустяков…

— Надеюсь, в моих не слишком много…

— Надеюсь вместе с вами, — улыбнулся Юрьев.

Я чувствовал его искренность и открытость. И сам вдруг тоже ощутил себя свободно. «Славное у вас оконце», — отметил я, почти уверовав в это. «Неужели?» — довольно отозвался он. Сквозь двойные пыльные стекла мы созерцали угрюмый сад скорбных деревьев, черную землю, линию венчающих решетку пик, клочок пустынной улицы, приземистые крыши, огромные клубы дыма.

— Отсюда у меня, — сказал Юрьев, — налажен хороший контакт с пространством.

Мы определенно симпатизировали друг другу. Надо же было прийти сюда в этом враждебном городе, чтобы испытать столь драгоценное — и взаимное — чувство в общении с незнакомцем («весьма курьезный случай»…). Юрьев объявил:

— Предпочитаю писателей, которые осмеливаются писать правдиво… Имел честь знавать кое-кого из них: Розанов, Гершензон, Сологуб, Блок, Белый…

(Времен ушедших цвет!)

— Жаль, — продолжал он, — что в литературе столько мелких шутов…

— Жаль! — охотно поддержал я. — А что вы читаете?

— Достоевский. И лучший, и худший — это неразделимо. Он искренне взыскует истины и боится ее найти, часто находит, вопреки себе, и ужасается… Великий и жалкий человек. Не правда ли?

— Да, да, — отвечал я без тени лукавства.

Мы еще немного побеседовали в том же духе. Юрьев высказывал суждения поразительно верные, продуманные, как мне показалось,

обнаружив незаурядные аналитические способности. Кем он был? Классификация его мне не давалась. Почему он здесь? Несомненно из тех, кого доставляют с обнаженными клинками… Контрреволюционер? Замешан в мистицизме? Он становился все более проникновенным. Приблизив ко мне испытующий взгляд, спросил:

— У вас есть страх?

— Ну, да. Временами… Как у всех…

Юрьев сделал головой неуловимый знак отрицания.

— Нет, не как у всех. Если вы испытываете страх, извините, что приходится такое говорить, значит больны, причем сами культивируете собственную болезнь. Страх — это заразительный, но излечимый невроз. Великий массовый невроз. Я им страдал, но излечился. Вы тоже можете излечиться, ежели захотите. Это вопрос…

Что-то отвлекло его. Далекий от меня, воспаривший куда-то, он уставился в пустоту, на паркет. Вполголоса — казалось немыслимо повышать голос — я спросил:

— Это вопрос… вопрос чего? Договаривайте.

—…Освобождения в самом себе… Чудовищно трудно такое объяснить, вот беда. Это все равно, что самому у себя вырвать лишний орган. Это бесконечно легче сделать, чем обсказать… Достаточно пожелать…

Маленькие серые глаза старались передать мне свою тайную силу.

— Попытайтесь понять меня без слов… Пожелать во мраке ночи, улавливаете?

— Быть может, — сказал я. — Полагаю, что…

Я был счастлив, что в этот момент за мной пришел одноглазый врач. С Юрьевым мы распрощались долгим рукопожатием. Он

заверил, что ни в чем не нуждается….И опять в тесном кабинете одноглазый врач грел большие красные ладони над теплым калорифером. К окну с застывшей жестикуляцией, будто в крике без голоса, лепились голые ветви деревьев. Девушка из обслуги принесла нам два стакана хилого чаю и четыре не крупнее спичечной головки зернышка сахару. Профиль врача был обращен ко мне мертвой глазницей: старый шрам под синеватой линией шва.

— Могу угостить только морковным чаем, — сказал врач. — Другого у меня не будет до конца месяца. Пейте, пока горячий.

— А ведь он мерзнет там наверху, ваш интересный случай?

— Нет. Он закаленный. Мы подтапливаем. Знаете, физическая выносливость наших больных бывает невероятной.

— Он кто?

— «Каэр», тяжелый случай, обвинение по многим параграфам статьи 58 Уголовного кодекса. Надеюсь, вас интересует не мой диагноз? Юрьев лет тридцать торговал газетами где-то на углу Литейного проспекта и улицы Бассейной, а может Пантелеймоновской, традиционный квартал литераторов. Некоторым, по знакомству, отпускал газеты в кредит. У него есть редкие книги с автографами, единственное, ради чего он цепляется за землю. Книги опечатаны, и это его заметно изводит. «Вы что, боитесь их потерять?» — коварно спросил я однажды. При слове бояться его передернуло. Поразмыслив, он ответил, что это было бы для него поистине печально, но печаль — следствие любви… «А разве не страх предваряет печаль?» — настаивал я. «Нет, — сказал он, — скорее тревога. Может, вы хотите, чтобы мыслящее существо прожило без тревог? Что же такое мысль, как не мужественная тревога?» Он не так прост, как видите. Писатели присылают ему хлеб и колбасу, так что питается он неплохо. Юрьев уважает и жалеет их, поскольку живут они, по его словам, в страхе. Его личное несчастье — я пользуюсь объективными выражениями — состоит в том, что он

утратил страх.

Передо мной по-прежнему маячил шрам на месте пустой глазницы под огромным бледно-розовым лбом одноглазого доктора. Казалось, для него я почти не существую, и он в это мгновение был для меня всего лишь абстрактным голосом.

— Когда-то немецкий автор описал историю человека, потерявшего тень… В нынешнем веке мы не потеряем свою тень даже во тьме. Она вошла в нас, она нас окружает. Это страх. Юрьев, затурканный гражданин нашей эпохи, вечно был, как и все мы, раздавлен им. Рабочие, учит он, мучаются от страха умереть с голода, если не украдут, от страха перед воровством, от страха перед партией, от страха перед планом, от страха перед самим собой. Виноватые боятся признать свою вину, невиновные боятся своей невиновности и того, что им не в чем сознаться. Интеллигенты боятся понять, но боятся и не понять, боятся показаться понимающими или не показаться понимающими. Идеологи боятся идей, верующие боятся обнаружить, что они верующие, и боятся изменить своей вере. Народ боится власти, власть боится народа. На вершине государства боятся друг друга члены Политбюро, боятся действовать и боятся бездействовать, боятся экономического кризиса, боятся последствий собственных действий, боятся масс, боятся войны. Вождь боится своего окружения, окружение боится его. Он стакана воды не выпьет без страха перед отравлением, боится самых преданных в собственной охране. Юрьев, систему которого я для вас резюмирую, считает, что самые могущественные и есть самые больные, хотя не самые достойные жалости. Множество ночей продрожал он, хотя ему ничто не угрожало. И сделал вывод: раз уж опасности существуют, разумнее воспринимать их спокойно, ведь страх населяет наши души призраками, унижает, ослепляет. «А как же инстинкт самосохранения?» — обмолвился я. Он парировал: «Инстинкт самосохранения требует радоваться жизни!» Как-то поутру снизошло на него откровение. Пробудился свободным. Никакого страха ни перед чем, ни перед чем! Только светлое чувство очищения. Он ощутил в себе праздник. И все дела пошли

на лад благодаря новой уверенности, с которой он приступил к своим маленьким проблемам. Не давали хлебных карточек по причине того, что лет пятнадцать назад он пытался открыть книжную лавочку. Бывший капиталист, стало быть… В комитете он держался с такой убедительной дерзостью, что все тотчас устроилось. Мог быть счастливым, но имел ли он право утаить от других секрет спасения? Юрьев людей любит. Он потратил не один день, переписывая от руки сорок «Воззваний к народу». Граждане, почему вы дрожите? Почему дрожат члены нашей Великой Партии Победоносного Коммунизма? Почему власти вскрывают несуществующие заговоры? Почему вы боитесь поднять голос против лжи и беззакония? Довольно! Кошмар прекратится завтра же, стоит только захотеть. Посмотрите друг на друга по-доброму, без страха, без злобы – мерзость и рухнет… Все сорок воззваний Юрьев снабдил подписью, и сделал это не гордости ради. Пометил везде свой адрес… Убил ночь, чтобы расклеить их на центральных улицах под носом у милиции и запоздалых прохожих. Его приняли за обыкновенного расклейщика афиш, решившего поработать не совсем вовремя, зато без помех. Так что до постели он добрался.

В девять утра в дверь постучали двое: один в форме, другой в штатском… Чемодан уже был наготове. Он хорошо понимал, что власти не оценят его по справедливости сразу: психологическое усилие, которое предполагалось его «Воззванием», требовало времени. Множество следователей ГПУ, сменяя друг друга, допрашивали его с увещеваниями, угрозами и попытками соблазнить. Назовите сообщников? Адреса известных вам консульств? Кто вам платит? Что вы думаете о капитализме? «Вот ведь безумцы!» – печалился он. Какой-то чин, выведенный из терпения, обозвал его контрреволюционной собакой, которую следует «расстрелять на месте!». Юрьев покачал головой, не выходя за рамки невозмутимого доброжелательства. «Не распускайте нервы, гражданин начальник! Последнюю революцию я считаю единственно верной. Позвольте вам объяснить…» Он неутомимо доказывал, что страх заставляет их терять здравый смысл, что, как и он, они тоже могли бы излечиться, что это

единственный путь к спасению… Настолько разумно и убедительно, что озадаченные служаки стали подозревать в нем выдающегося симулянта… Симулянта чего? Юрьев не дрогнул перед наставленными на него револьверами. «Никогда, — сказал он, — вам не забыть того, чему я вас научил… Вопреки вам, я вас спасаю…» Бесплодные эти допросы посетило весьма озабоченное высокое начальство. Оно и покончило на том, что спровадило Юрьева ко мне… Что вы об этом думаете?

Виктор СЕРЖ.

Перевод с французского В.А. Бабинцева был опубликован в журнале «Звезда» (1994, №5.)

Hekaýalar